ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
“ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ”
ОБЪЕДИНЁННЫЙ КАТАЛОГ
“ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ...”
ИНДЕКС: 26260.
ИНТЕРНЕТ: denlit.ru

Ф О Р У М

Русская правда

Пётр КУЗНЕЦОВ

Рассказ-быль

Всё в этом рассказе – правда.

Я заведовал тогда школами района и сидел за столом, уставленным телефонами. Среди них был особенно опасен синий – "вертушка". По нему мог позвонить либо первый секретарь райкома, либо председатель райисполкома. Это были звонки-разносы. Отвечать на них полагалось:

– Будет сделано... доложу обязательно... исправим, Василий Петрович. – И самое последнее: – Спасибо за подсказку, Василий Петрович.

После такого звонка я сидел и думал: "Как легко тыкать пальцем и как трудно делать. Но делать все равно надо".

Мы как раз запускали пионерские лагеря на очередной летний сезон. Заканчивались занятия в школах. Выпускники проходили практику по военному делу. Тогда это было поставлено солидно: военный лагерь, профессионал из воинской части, атаки, стрельба из автомата. Недаром из 17 выпускников наших школ, кто воевал в Афганистане, не погиб никто.

Звонок по общему телефону прервал мои размышления. Директор школы взволнованно кричал в трубку:

– Школьники кости нашли! Окопы рыли и выкопали.

– Ну, и что?

– Петрович, кости человеческие. Глубина – полметра. Камнем придавлено. Партизан – не иначе. Видно, колчаковцы расстреляли. Куда деть?

– Соберите в ящик и доставьте в сельский совет. Скоро буду. Я догадался сразу, чьи это кости и выехал немедленно в Александровку.

В апреле-мае девятнадцатого в Северном Казахстане, на моей малой родине, вспыхнуло антиколчаковское восстание. В документах о гражданской войне оно значится как Мариинское.

Из окрестных сел мужики с вилами, топорами и косами, кто добровольно, кто из страха перед будущим, а больше от неизвестности, собрались в селе Мариинское под Атбасаром.

Ставленники адмирала были расстреляны, и в его глубоком тылу была установлена советская власть. Мужики с косами, конечно же, никакой реальной опасности режиму Александра Васильевича не представляли, но, чтобы зараза не распространялась, на усмирение восставших была брошена дивизия над командованием генерала Волкова. А дивизия эта – ох как нужна была где-нибудь под Ижевском.

Генерал по всем правилам военного искусства распугал мужиков выстрелами из пушки, большую часть выкосил перекрестным пулемётным огнём, а остатки вырубил шашками. Потом ещё три дня вылавливали несчастных в подвалах, подполах, на чердаках и расстреливали.

Когда мне говорят: красные победили потому, что были жестоки, я вспоминаю Мариинское восстание. Белые не потеряли ни одного человека, даже никто не был ранен.

Вода в реке Ишим, реке моего детства, была красной от человеческой крови. Перепуганные мужики ринулись к воде в надежде спастись в прибрежных зарослях. В упор их встретили пулемёты.

Через три дня, когда дивизия Волкова ушла к Уралу, собрались женщины из тех же сёл. Они враз стали вдовами. Растаскивали трупы, узнавали и выли, как затравленные волчицы.

Вырыли всего три могилы: на девятьсот, шестьсот и двести пятьдесят человек. Советские источники показывают гораздо большие потери. Но я верю только моей матери. В 1919 году она, девятнадцатилетняя красавица, вышла замуж за хромого мужика Тихона, человека от увечья замкнутого, одинокого и хмурого. Мать, царство ей небесное, всё помнила, ненавидела всякую политику, верила в Бога и любила меня.

Она рассказывала.

Глубокой осенью девятнадцатого белые спешно отступали, какие на восток, какие на юг. Она показывала пальцем, а я определял части света. На юг – в Китай, на Восток – к Тихому океану, где потом красные свой закончили поход. Так вот, здесь же, в Мариинском, будто по иронии судьбы, красные застали врасплох измученных голодом и болезнями белых. Изрубили в куски, искололи штыками поднимавших руки. А одного молоденького, почти мальчика, с колен на штыки подняли. Его так и закопали с выпученными, будто удивлёнными глазами. Русскими были те и другие. Озверели одинаково. Избави Бог нас ещё раз... Ой, не приведи Господи!..

С этими мыслями я въехал на площадь. У сельсовета собирался народ. Председатель объявил о торжественном захоронении.

Я должен был разрешить директору школы прервать занятия и построить учеников у памятника "Слава героям гражданской войны". Памятник и тем и другим, – думалось мне.

Скоро появился запыхавшийся директор и, получив указания, убежал.

– Покажите кости, – попросил я.

– Останки героя, – поправил меня председатель и показал ящик в углу. Тут только я заметил, как он строг, торжественен и подтянут. Захоронению председатель придавал исключительно большое значение. Он вызвал редактора районной газеты, собрались ветераны, активисты, пришли сельчане.

Пока председатель суетился с организацией захоронения, я сидел в его кабинете. Ящик с человеческими костями стоял в углу.

В восстании девятнадцатого года принимало участие много моих родственников по отцу и матери. В живых остались только двое.

Дед по матери. По поручению командира повстанцев Никифора Ирченко он собирал оружие по окрестным селам и, когда подъехал на телеге, гружёной разным железным хламом, восстание было подавлено.

Деда окружили белые. Он, не слезая с лошади, быстро крестился и просил:

– Братушки, не убивайте. Не убивайте: я всё вам привёз.

Победители смеялись. Дали ему двадцать пять шомполов и бросили. Умрёт, думали. Дед выжил. Потом долго ходил в юбке и только перед смертью, в шестьдесят первом, рассказал мне об этом.

– Помни, внук, памятник и тем и другим, одинаково русским людям – при этих словах он опасливо озирался вокруг.

Ещё живым остался дядя, брат моего отца.

Когда мужики спасались кто как может, он залетел в подвал-ледник. Были такие подвалы, как бы теперь сказали – холодильники, где целое лето лежал зимой заготовленный лед. Беляк увидел и вслед бросил гранату. Она взорвалась. Никто не мог и подумать, что дядя останется жив.

– А он схоронился за крыгу и токо ногу яму (ему, значит) перебило гранатой (осколками, значит), – рассказывала мать. – Хромал дюже. С ледника на третий день выполз. Нога выше колена раздроблена. Две палки к ноге приложили, верёвками туго обмотали. Через полгода ходил.

– Хромал дюже, – повторила мать, ткнула пальцем в свою правую ногу и добавила, – на энту ногу.

В самом конце девятнадцатого мой дядя Иван Макарович Кузнецов женился на первой красавице села Марии Шеремет, жених которой пропал во время восстания.

А летом двадцатого этот самый жених Степан Горяйнов и трое братьев Марии объявились в селе живыми и здоровыми и утверждали, что во время боя (они думали, что был бой), переплыв реку, скрылись в камышовых зарослях, а потом добрались аж до Ташкента. Слухи говорили другое. Будто сбежали они из лагеря красных до прихода белых. Бог им судья.

Но тогда, в двадцатом, Степан – сразу к Марии, а та замужем. Короче, дядя выследил и застал свою законную жену с любовником. Степан в окно сиганул, одев раму на плечи. Марию дядя Иван зарубил топором.

– Руки были атрубаны. Закрывалась, видать. – Мать прикладывала руки к голове, показывая, как закрывалась Мария. – Апасля рук галаву развалил и атсек ат тела напрочь. В ярость мужик пришёл. Отец твой тожа злой быв, – она тяжело вздыхала, намекая мне о своей неизменной верности мужу и нелегкой жизни с ним.

Дядю Ивана арестовали, и братья Марии конвоировали его в Атбасар. Через два дня братья вернулись и показали бумагу:

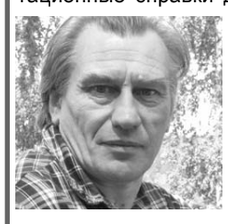
"Убит при попытке к бегству". На сло-

"Теперь бы здесь да белый голубец..."

Сергей КУНЯЕВ

Глава "Заключение" из книги "Николай Клюев"

В конце 1950-х годов, в период всеобщей реабилитации, Иван Михайлович Гронский, отсидевший свои 18 лет, составлял реабилитационные справки для Военной прокуратуры. Но когда дело дошло до Клюева – категорически отказался за него хлопотать. Клюев остался для Гронского и личным его врагом, и врагом советской власти.



По делу 1937 года Клюев был реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа в 1960 году, и для широкой публики это оставалось неизвестным вплоть до 1988 года, когда по запросу комиссии по его творческому наследию он был, наконец, реабилитирован и по делу 1934-го. Это при том, что одного из его палачей, Николая Христофоровича Шиварова (который был арестован 27 декабря 1937 года и в июне 1938-го покончил с собой в лагере), трибунал Московского военного округа реабилитировал в 1957 году за отсутствием состава преступления (!). Томский же следователь Георгий Горбенко в 1939 году был отправлен на учёбу, в 1950-х работал директором Томского строительного техникума, в том же 1957-м ненадолго исключён из КПСС "за участие в репрессиях" и мирно скончался в своей постели в 1972-м.

Посмертная судьба творческого наследия Клюева не менее интересна, чем его изобилующая крутыми поворотами жизнь. Об этом можно и нужно писать отдельную книгу. Я же остановлюсь на нескольких существенных фрагментах.

Может показаться странным, но за всё время, прошедшее после гибели поэта – и военное, и послевоенное, – его книги никогда не изымались из библиотек. На них не составлялось никаких циркуляров, и они не попадали ни в какие "запрещающие" списки. Видимо, ответственные товарищи считали, что имя "Клюев" говорит само за себя – и ни у кого просто рука не потянется к этому "запретному плоду". В мире литературном прочно и основательно сложилась репутация абсолютного монстра, глядящего куда-то "далеко назад", а широкий читатель со временем стал забывать, что был когда-то такой писатель вообще.

О нём вспомнили без уничтожающих эпитетов (или с их "необходимым минимумом") в конце 1950-х годов исследователи творчества Сергея Есенина. Есенин как бы посмертно протянул руку помощи своему другу и извлёк его из тьмы забвения. Естественно, не обошлось без использования различных "лыгенд" и сплетен.

Здесь, конечно, постарались живые современники, авторы многочисленных мемуаров.

"Пагубное влияние оказывал на Есенина Клюев – талантливый поэт, но кулак и лицемер до последнего ногтя" (О.Литовский).

"Во всём облике Клюева, с которым я встречался недолго, было что-то елейно-лицемерное, лукавое, иконописно-наигранное, но чрезвычайно занятное... Церковно-книжная стилистика Клюева с его елейной рассудочностью..." (К. Зелинский).

"Он мне сразу показался актёром, исполняющим в тысячный раз затверженную роль" (И. Эренбург).

"Трудно было разгадать этого "мужика". Он был умён, а "работал под дурачка". Был хитёр, а старался казаться простодушным. Был невероятно скуп, а прикидывался добрым" (И. Шнейдер).

Это что касается человеческого облика, искажённого и извращённого до последнего предела. Что же касается Клюева-поэта – здесь история выкидывала удивительные фортели. Два человека – на Западе и в Советском Союзе – стали его первооткрывателями. И каждый из них – с чудовищной человеческой репутацией.

В Соединённых Штатах Америки Клюевым вплотную занялся Борис Филистинский, ставший к тому времени Борисом Филипповым. Коллаборационист во время Великой Отечественной, основатель так называемого "русского гестапо" в Великом Новгороде, лично принимавший участие в расстрелах советских военнопленных, он стал вместе с Глебом Струве издателем и комментатором многочисленных книг и собраний сочинений классиков так называемого Серебряного века – Гумилёва, Ахматовой, Мандельштама, Клюева, – издаваемых на деньги Центрального разведывательного управления и служивших своего рода оружием психологической войны против СССР. Этого не скрывали и сами комментаторы. Но как бы там ни было – дело было ценное хотя бы в части публикации многих и многих неизвестных тогда в Отечестве текстов, в частности, текста клюевской "Погорельщины", напечатанной со списка, хранившегося у Ло Гатто. Тенденциозность предисловий и комментариев (и их частичную историческую безграмотность) приходилось по возможности не брать во внимание.

А в СССР первооткрывателем Клюева (без привязки к Блоку или Есенину) считался Владимир Орлов, напечатавший о нём статью в 1966 году в "Литературной России", хотя ещё до этого появились в провинциальной печати ценнейшие сведения о поэте, разысканные петрозаводским краеведом А.Грунтовым. Но самым первым был всё же Сергей Чудаков – талантливый поэт, умный критик и абсолютно бесшабашный и беспринципный малый, отягощённый массой комплексов и имевший весьма смутное представление о человеческой морали – своеобразный исторический персонаж эпохи так называемой "оттепели", ставший легендой (с чёрным оттенком) ещё при жизни и оставшийся ей после своего бесследного исчезновения. В 1962 году в "Знамени" он напечатал рецензию на сборник стихов Владимира Фирсова "Вдали от тебя", озаглавив её клюевской строкой: "Пшеничные рощи, как улей медовы...". Подробно разобрав книгу Фирсова как "человека одарённого", он сопровождал свой разбор упрёками стихотворцу, который, "споря с героем из-за его бегства в город, стремится вернуть его назад, не в новую, а в старую деревню", в то время как "надо идти вперёд", ибо "нужно *укрупнять поселения*, а дотянуть свет до всех мелких деревенек – и дорого, и неправильно". Фактически отстаивая хрущёвскую программу уничтожения русской деревни, Чудаков в конце своего сочинения отдельно в качестве назидания обратился к Клюеву и его стихам из неупоминаемой тогда нигде книги "Львиный хлеб". К Клюеву, который, по словам критика, "тезис: "подснежник мудрее, чем университет"... защищал с блеском и подлинным пафосом"...

Именно по следам этой рецензии выдала свою инвективу во "Второй книге" Надежда Мандельштам: "Только руситы ищут себе ставленника без подозрительной крови в жилах. Они перебирают прошлое и почему-то не замечают Клюева. Боюсь, что их выдвиженец всех поразит неожиданностью и блеском...". Передёрнуто здесь всё, что только можно, но по крайней мере о Клюеве она не произнесла ни одного худого слова.

(И она нежданно оказалась провидицей. Во всяком случае тогда ещё никто не предполагал возможности такого явления, как поэзия Юрия Кузнецова. После Клюева он стал вторым – и последним – поэтом XX столетия, уверенной и мощной, поистине Святогоровой поступью прошедшим по русскому мифологическому пространству.)

Не замечали Клюева не только "руситы" (как напрасно думала Надежда Мандельштам). Клюева не замечали и не желали замечать читатели вполне либеральных убеждений, пробавлявшиеся "самиздатом". Об этом свидетельствовал, в частности, Михаил Поливанов в предисловии к той же "Второй книге": "Многие из них, в разное время и в разных местах, не сговариваясь, просто перестали читать... официально рекомендуемую литературу. И руководствуясь тем же инстинктом, которым руководствуются овцы, откочёвывая в степь, где есть свежая трава, от вытоптанного пятачка, на котором их пасут, они нашли для себя в современной литературе Гумилёва, Мандельштама, Ахматову, Пастернака, Булгакова. Мы ведь знали эти имена задолго до того, как их снова стали печатать, и таких было совсем немало...". Клюева в этом "джентельменском наборе", естественно, нет, да, пожалуй, и не могло быть... Сознание тогдашних "самиздатчиков" и читателей стихов и прозы в списках, соответствующим образом настроенное, не в состоянии было "переварить" поэта.

И это вполне объяснимо. Еще в 1921 году Корней Чуковский в статье "Ахматова и Маяковский" писал о "двух Россиях" – России "старой" и России "новой", каждая из которых воплотилась в творчестве названных поэтов. России Клюева, как и вообще России поэтов Русского Возрождения, в этой "диоптрии" места не было, а наследники подобного "критического подхода" в 1960-е о "морже златом" тем более не вспоминали.

К концу 1960-х годов относительно спокойная тональность, в которой звучало в печати имя Клюева, начала резко меняться. Связано это было – когда напрямую, когда опосредованно – с кампанией, развязанной против так называемых "руситов" из журнала "Молодая гвардия". Так, Александр Дементьев, громивший их в статье "О традициях и народности", опубликованной "Новым миром", не мог не привести клюевских строк из стихотворения "Мы ржаные, толоконные..." как свидетельства "замшелости" и "реакционности" и самого поэта, и его современных "последователей". Вскоре в том же "Новом мире", где имени поэта слышать не могли без зубового скрежета, появились воспоминания Елизаветы Драбкиной об Анне Ульяновой, у которой "особое негодование... вызывают "христианствующие" и "мужиковствующие" поэты типа Клюева, пытавшиеся изобразить Ленина в этаком "божественном", "русопятствующем" виде, умилительнейшем, покрытом липкой славянофильской патокой...". Здесь очевидно отношение к Клюеву и самой Драбкиной, до самого конца оставшейся апологеткой антирусской "ленинской гвардии".

В биографии Сергея Есенина, написанной Евгением Наумовым и изданной массовым тиражом в том же 1969 году, образ Клюева был явлен в густых тёмных тонах. Через три года вышла книга Аллы Марченко "Поэтический мир Есенина". Клюев в этом небезынтересном сочинении вовсе уж предстал в образе "чёрного человека" в судьбе Есенина – едва ли не страшнее и не хуже Вадима Шершеневича. А ещё через год на книжных прилавках появилась мемуарная книга бывшего имажиниста Матвея Ройзмана "Всё, что помню о Есенине".

Минимальной объективности от этого человека не приходилось ожидать изначально. Но Ройзман поистине превзошёл и всех хулителей последних лет, вместе взятых, и, наверно, самого себя. Застарелая ненависть выплеснулась на страницы мощным потоком, и мемуарист уже не стеснялся в выражениях. Оказывается, именно "мужиковствующие" и спаивали, и провоцировали на скандалы бедного Есенина так, что им даже был запрещён вход в "благопристойное" кафе "Стойло Пегаса"... А наш герой удостоился поистине замечательной характеристики: "Клюев, как был реакционером в идеологии и поэзии, так и остался... Ведь не за положительное отношение к Советской власти в начале тридцатых годов Клюев был сослан в Нарым...".

На дворе 1973 год. Подобные фразы давным-давно исчезли с печатных страниц, их стеснялись тогда самые крутые "сталинисты" – и цензура (как это кому-то ни покажется странным!) стремилась подобное не пропускать. Но Ройзману, оказалось, можно. В тоне, заданном Александром Дементьевым и Александром Яковлевым – автором памятной статьи "Против антиисторизма".

Именно по следам подобных инвектив замечательный поэт Николай Тряпкин написал тогда свои "Стихи о Николае Клюеве":

Он сам себя швырнул под ту пяту,
Из-под которой дым, и прах, и пламя...
Зачем же мы всё помним ярость ту
И не простим той гибели с мощами?
Давным-давно простили мы таких,
Кому сам Бог не выдал бы прощенья...
А этот старец, этот жалкий мних, –
Зачем в его летят ещё каменья?

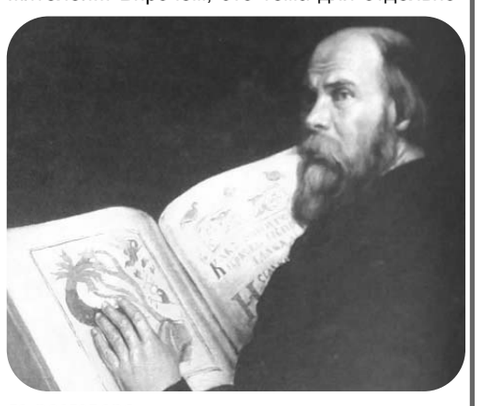
Но пройдёт ещё немного времени – и с середины 1970-х годов стихи Клюева – перепечатки и новонайденные в архивах – станут появляться на страницах отечественных газет и журналов. Наконец, в 1977 году усилиями замечательного учёного Василия Григорьевича Базанова выйдет первый посмертный отечественный сборник стихов опального поэта в "Малой серии Библиотеки поэта". А ещё через несколько лет, в 1984-м – в Вытегре – будет торжественно отпраздновано 100-летие со дня рождения Николая Алексеевича.

Книжка же самого Базанова о Клюеве "С родного берега", сданная в том же году в издательство "Современник", останется без движения лежать в редакционном сейфе вплоть до 1990-го, когда она увидит свет в издательстве "Наука". Не помогла своевременному её выходу и заключительная глава, снабжённая множеством оговорок ("Внеисторична сама концепция Клюева, внеисторично отношение поэта к современной деревне, наивна попытка создать модель будущего из обломков патриархальной старины...")... Отдельные публикации стали возможны, как и статьи о поэте (и тот же Базанов в "Русской литературе" в 1979-м опубликовал статью "Поэма о древнем Выге", посвящённую не опубликованной ещё тогда в СССР "Погорельщине"). Но книгу о "нереабилитированном" печатать тогда никто не рискнул.

Ещё в 1988 году мы получали из прокуратуры СССР письма, в которых утверждалось, что относительно рукописей и книг, "изъятых у Клюева при аресте, этими сведениями органы КГБ не располагают, нет их и в материалах дела". При том, что и стихотворения, и поэмы сохранились "в материалах дела" в количестве, превзошедшем самые смелые ожидания, если учесть, что все изъятые рукописи у абсолютного большинства других писателей сжигались "как не представляющие интерес для следствия". Рукописи Клюева, как можно было понять, представляли очень большой интерес для следствия и сохранились, как и его "дело" под грифом "хранить вечно". У меня же по этому поводу есть ещё и другие соображения.

В "деле" 1934 года не осталось никаких свидетельств того, что с рукописями знакомился кто-либо, кроме следователя Шиварова. Я же предполагаю, что их держали в руках сотрудники отдела, возглавляемого Глебом Бокием, с которым имел прямую связь Александр Барченко. Озабоченные своими мистическими "проникновениями" в историю, эти сотрудники могли порекомендовать сохранить и "Погорельщину", и "Песнь о Великой Матери", и "Каина", и лирику как нужный "познавательный материал"... Впрочем, доказательств этому предположению пока нет, но, возможно, они однажды отыщутся.

Окончательно "прорвало" в конце 1980-х, когда "Новый мир", "Сибирские огни", "Север" и другие журналы стали наперебой печатать произведения и документы из старых книг, государственных и домашних архивов. Воспринимались эти публикации на общей волне реабилитации "жертв сталинизма", когда отечественная история стала в руках властей предержащих и "обслуживающего персонала" чем-то вроде оружия, направленного против "империи" и её ныне живущих жителей... Впрочем, это тема для отдельного разговора.



Публикации "Песни о Великой Матери" в "Знамени" в 1991-м и "Каина" в "Нашем современнике" в 1993-м шли уже на фоне государственного и общенародного развала и крушения. Должно было пройти время, схлынуть чёрные волны, прежде чем стало возможно не торопясь, спокойно и вдумчиво оценить и осмыслить сокровища, доставшиеся нам от "моржа златого".

Клюева некогда не замечавшие его любители Серебряного века стали всеми возможными способами вписывать и втискивать в этот самый Серебряный век, не желая думать о том, что ни один из поэтов того яркого, красочного, порочного, сумасшедшего предапокалиптического времени не в состоянии даже частично охватить исторические, мировоззренческие, духовные пласты, подвластные Николаю Алексеевичу. Более того, нас и поныне предупреждают в связи с клюевским наследием, что "миф, даже самый эффектный и увлекательный, может быть опасен. Особенно миф, имеющий острый национальный привкус".

В 1999 году усилиями местных энтузиастов и знатоков жизни и творчества Клюева в Томске на доме по Старо-Ачинской (его последний адрес на воле) была установлена мемориальная доска. А через три года она была сорвана, брошена в канаву (где её в конце концов чудом отыскали) – и сам дом был снесён "по разрешению мэрии". "Свирепому капиталу" и ныне нет дела ни до культуры, ни до человеческой памяти.

Но по-прежнему – один за другим выходят богато и вдумчиво откомментированные тома стихов и прозы, корпуса воспоминаний с доселе неизвестными материалами и документами... В Вытегре и Томске проходят ежегодные Клюевские чтения. Открытие Клюева продолжается, и пожалуй, именно сейчас, в преддверии новых грозных событий, настаёт наконец время осознания его помыслов и пророчеств.

"Завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец – в хмурой нарымской земле", – с этой просьбой обращался Николай Клюев к своему собрату Сергею Клычкову. Неизвестны их могилы, и не стоят над ними голубцы. Но поразительно! Словно через десятилетия услышал эту просьбу поэта-странника наш современник Николай Тряпкин, не знавший о существовании этого письма, когда складывал свой "Стих о Николае Клюеве":

Теперь бы здесь да белый голубец,
Зелёный клён да ковшик из бересты.
Сюда бы шли и старец, и юнец,
И грозный страж, и милые невесты.
Пускай придут и вспомнить, и почтить,
И зачерпнуть из древлего колодца.
Мы так его стараемся забыть,
И всё-таки забыть не удаётся.

Мы вспомнили о нём. Сорвана пелена забвения с его имени и его стихов. Теперь – настало время подлинного осмысления. Ради нашей духовной и душевной крепости. Ради нашего просветления. Ради нашего спасения, наконец.

(Полностью публикацию смотри в журнале "Наш современник")

Эпоха возрождения

О романе Глеба Боброва "Эпоха мёртворождённых"

Читать "Эпоху мёртворождённых" Глеба Боброва – как водку пить: морщишься, давишься, но остановиться не можешь. В книге, кстати, метко сказано про роль этой самой водки: она вроде катализатора для раскрытия души нашего человека. Так вот, "Эпоха" – безусловно такой вот катализатор. Читаешь и чувствуешь, как начинается внутри какая-то смутная пока химия. Любую книгу можно оценить по одному простому критерию: вызывает она что-то внутри, цепляет или проходит потоком букв через зрение – и отправляется постранично в унитаз.

Эта – цепляет. Не просто цепляет – дерёт. И глаз, вязнущий в удивительных речевых оборотах, и мозг, продирающийся сквозь рваный железобетон, грязь и кровь, растерянно пытающийся понять, за что на него обрушился весь этот рёв смертоносного металла.

Вот и герои романа не могут понять разумом то, что понять невозможно. Они дерутся насмерть, и может показаться, что они, как бы сказал Портос "дерутся, потому что дерутся". Не "за что-то", а "против". Потому что достало. Здесь, в отличие от большинства произведений на подобную тематику, нет однозначно правых и виноватых. Автор в принципе прямо говорит: война в любом виде – дерьмо. Нет благородной войны. Нет благородных убийц. Нет ничего, ради чего стоило бы убивать людей.

А героям приходится это делать. Заходить за все грани, делать самое страшное, что можно вообразить.

Осуждает автор своих героев? Нет. Прощает? Нет.

Что же происходит? – Жертва.

Страшная искупительная жертва. Как Христос приносит в жертву самого себя ради всех людей на Земле, так и главный герой Деркулов приносит свою собственную жертву. Если уж брать с кого-то пример – то уж, наверное, не с Рембо, завалившего кучу народа и спокойно попивающего виски в провинциальном баре.

Русский герой так не может. В отличие от Рембо, у него есть совесть.

Глупо воспринимать это произведение, как руководство к действию. Это притча. И, как настоящая притча, несущая на себе черты пророчества.

По поводу предсказанных в подробностях за семь лет в книге событий, что само по себе сенсация, сказано уже "стопятьсот" раз, так что на этом нет смысла останавливаться. Остановлюсь на субъективных ощущениях.

Хотя... Куда тут без возвращения к "пророчествам"? Без этого не описать свои собственные впечатления. Когда в октябре прошлого года, перед самым "майданом" я въезжал за рулем в прекрасный город Луганск, я даже в страшном сне не мог себе представить, что перед моими глазами проплывают декорации будущей драмы. И когда уже в тексте романа я встречал характерные речевые обороты, связанные для меня исключительно с этими местами, населённые пункты, терриконы, дороги и развязки, в которых, я петлял, загнанный чёрт знает куда брехливым навигатором, – я чётко представлял себя на месте бойцов Деркулова или несчастных украинских танкистов, как баранов загнанных на бойню. Помню пожилых шахтёров, указавших нам правильную дорогу, милиционеров, делавших вид, что не замечают нарушение правил машиной с российскими номерами, – живы ли они теперь? Или с оружием в руках сражаются за мою, за вашу свободу? Да за свободу и жизнь всего мира, чёрт возьми!

Так вот, для меня эта книга густо замешана на реальности, и в этом её уникальная для меня лично сила.

Да и сам текст – густой, плотный, едкий. Раньше говорили "написано выпукло", и я не понимал, что имеется в виду, но теперь, кажется, почувствовал. Было ощущение, что я не читаю глазами, а нащупываю кровоточащими пальцами текст, набитый азбукой Брайля. Давно не испытывал такого от книги. Язык определённо порадовал, хоть я не люблю злоупотребление ненормативной лексикой, но здесь – в самый раз.

Но самое мощное, за что лично мне больше всего понравился роман, – это финал. Реальный выход из нравственного тупика, который придаёт особый смысл, многослойность и объём произведению. Если текст до этого казался страшным предчувствием, то концовка создаёт ощущение пророчества. Честно – никому бы не пожелал быть пророком, особенно в таких вещах. Но эта же, вроде бы, безысходная концовка даёт надежду. Чувствуется, как автор стряхивает с героя (а может, с себя самого?) циничную журналистскую, "политтехнологичную" мишуру, отбрасывает в сторону безликие штампы "слоганов" и "брендов", а берёт на вооружение СИМВОЛ, самолично становясь символом, знаменем своей, а теперь и нашей общей борьбы.

И что важно – борьбы не за политические и военные успехи – да, они важны, и да, они будут, – а за собственную душу.

Вот это главное.

Владислав ВЫСТАВНОЙ